

СОДЕРЖАНИЕ

Часть третья. В тысячелетнее царство (преступники)	3
Из опубликованного посмертно	521

Часть третья

В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО (ПРЕСТУПНИКИ)

1

Забывтая сестра

Когда Ульрих, приехав к вечеру того же дня в... *, вышел из вокзала, перед ним открылась широкая, похожая на мелкую чашу площадь с улицами с обеих сторон, и зрелище это наполнило его память чуть ли не болью, как то бывает, когда глядишь на места, которые ты часто видел и всегда забывал.

«Уверяю вас, доходы сократились на двадцать процентов, а жизнь стала на двадцать процентов дороже — получается сорок процентов!» — «А я уверяю вас, что шестидневные велогонки — это событие, соединяющее народы!» Голоса эти выходили сейчас из его ушей — голоса купе. Затем он явственно услышал, как кто-то сказал: «Все равно для меня нет ничего выше оперы!» — «Это, видимо, ваше увлечение?» — «Нет, страсть...» Он наклонил голову, словно вытряхивая воду из уха. Поезд был полон, а ехали долго; капли общего разговора, просочившиеся в него за время пути, вытекали обратно. Среда веселой суматохи приезда, хлынувшей из двери вокзала, как из жерла трубы, в тишину площади, Ульрих подождал, пока эта струя не сделалась тоненькой, прерывистой струйкой; и вот он стоял в вакууме тишины, которая следует за шумом. И одновременно с непокоем слуха, возникшим отсюда, ощутил непривычный покой перед глазами. Все зримое было в этом покое резче, чем где-либо, и когда он взглянул через площадь,

4 совершенно обычные переплеты окон на другой стороне чернели среди бледного блеска стекла так, словно они были крестами Голгофы. И все, что двигалось, отделялось здесь от неподвижного не так, как это бывает в очень больших городах. Тому, что находилось в движении, и тому, что стояло на месте, здесь явно хватало простора расширять свою значимость. Он отмечал это с некоторым любопытством свиданья после разлуки, разглядывая большой провинциальный город, где прошло несколько коротких, но малоприятных полос его жизни. В характере этого города было, как он прекрасно знал, что-то безродно-колониальное. Древняя ветвь немецкого бюргерства, попавшая несколько столетий назад на славянскую землю, здесь захирела, и о ней мало что напоминало теперь, кроме немногих церквей и фамилий, да и от прежней резиденции земского представительства, которой был этот город позднее, почти ничего не осталось, кроме хорошо сохранившегося красивого дворца; но на это прошлое во времена абсолютной власти лег густой слой императорской администрации с ее провинциальными штаб-квартирами, начальными и высшими учебными заведениями, казармами, судами, тюрьмами, дворцом епископа, залом для танцев, театром и всеми причастными к ним людьми, а также с торговцами и ремесленниками, которых эти люди за собой потянули, а уж потом развилась и промышленность — благодаря приехавшим предпринимателям, чьи фабрики, крыша к крыше, заполнили предместья и при последних поколениях влияли на судьбу этого уголка земли сильнее, чем все другое. У этого города была история, было у него и лицо, но такое, где глаза не соответствовали рту, а подбородок — волосам, и на всем лежали следы бурной, но внутренне пустой жизни. Возможно, что при особых личных обстоятельствах это благоприятствовало экстраординарному и недюжинному.

Если выразиться столь же осторожно и точно, то Ульрих чувствовал какую-то «духовную бес-содержательность», в которой ты терялся настолько, что это склоняло к необузданной игре воображения. Странная телеграмма отца была у него в кармане, и он помнил ее наизусть: «Ставлю тебя в известность о последовавшей моей кончине», — велел сообщить ему старик — или следовало сказать: «сообщил», как на то и в самом деле указывала подпись «твой отец»? Его превосходительство, действительный тайный советник, никогда не шутил в серьезные минуты, причудливая формулировка была и впрямь чертовски логична, ибо оповещал сына все-таки не кто иной, как он сам, когда в ожидании своего конца писал или диктовал этот текст, приурочивая вступление в силу возникающего таким путем документа к мгновению своего последнего вздоха. Точнее выразить ситуацию, пожалуй, даже нельзя было, и все же от этого акта, где настоящее пыталось овладеть будущим, до которого оно дожить не могло, жутковато веяло трупным запахом злобно истлевшей воли!

При мысли об этом поступке, по какой-то ассоциации напомнившем ему прямо-таки нарочито неуравновешенный нрав маленьких городков, Ульрих не без тревоги подумал о своей жившей в провинции замужней сестре, с которой он, наверно, через несколько минут встретится. Он думал о ней уже и в пути, ибо знал о ней мало что. Время от времени через письма отца до него доходили очередные семейные новости, например: «Твоя сестра Агата вышла замуж», после чего следовали дополнительные подробности, ибо Ульрих тогда не смог съездить домой. А приблизительно через год он уже был оповещен о смерти молодого супруга; а года, если он не ошибался, через три пришло сообщение: «Твоя сестра Агата, к моему удовлетворению, решила снова выйти замуж». На этой второй свадьбе пять лет назад он присутствовал и видел сестру несколько дней; но помнил он только,

6 что дни эти были как гигантское колесо из белошвейных изделий, непрестанно вертевшееся. Помнил он и супруга, который ему не понравился. Агате было тогда, наверно, двадцать два года, а ему самому двадцать семь лет, ибо как раз тогда он получил докторскую степень; значит, сейчас его сестре было двадцать семь, и с тех пор он ни разу не видел ее и не обменивался с ней письмами. Он помнил только, что позднее отец часто писал: «В браке твоей сестры, по-видимому, не все, увы, обстоит так, как могло бы, хотя супруг ее человек превосходный». Были и такие строки: «Я был очень рад недавним успехам мужа твоей сестры Агаты». Таков был, во всяком случае, смысл писем, которым он, к сожалению, никогда не уделял внимания; но один раз, это Ульрих сейчас отчетливо вспомнил, с осудительным замечанием о бездетности его сестры связывалась надежда, что она все-таки довольна своим браком, хотя ее нрав никогда не позволит ей это признать. «Как она теперь выглядит?» — думал он. Характерно для старика, который так тщательно извещал их друг о друге, было то, что обоих он в хрупком возрасте, сразу после смерти их матери, выдворил из дому; они воспитывались в отдаленных друг от друга учебных заведениях, и Ульриху, который вел себя скверно, часто не разрешали съездить на каникулы домой, так что свою сестру он с детства, когда они, впрочем, очень любили друг друга, толком не видел, если не считать одного-единственного довольно продолжительного свидания, когда Агате было десять лет.

Ульриху казалось естественным, что при таких обстоятельствах они и не переписывались. О чем они могли друг другу писать? Когда Агата в первый раз вышла замуж, он, как теперь вспоминал, был лейтенантом и лежал после ранения на дуэли в госпитале. Боже, каким он был ослом! Каким, в сущности, множеством разных ослов! Ибо он вспомнил, что лейтенантская история с дуэлью тут ни при чем: он был тогда уже почти

инженером и занимался чем-то «важным», отчего и не стал участвовать в семейном празднике! А о сестре он слышал потом, что она очень любила своего первого мужа. Он уж не помнил, через кого он это узнал, но что, в сущности, значит — «она очень любила»?! Это ведь так говорится. Она опять вышла замуж, и второго ее мужа Ульрих терпеть не мог — вот это не подлежало сомнению! Неприязнь к нему основывалась не только на личном впечатлении, но и на нескольких написанных им книгах, прочитав которые Ульрих, может быть, не совсем случайно выкинул из памяти сестру. Поступок был не очень красивый; но он не мог не признаться себе, что даже в истекшем году, когда он о стольком думал, он ни разу не вспомнил о ней и при известии о смерти отца тоже не вспомнил. Но на вокзале он спросил встретившего его старого слугу, прибыл ли шурин, и обрадовался, узнав, что профессор Хагауэр ожидается лишь к самым похоронам, и хотя до похорон оставалось не больше двух-трех дней, это время показалось ему неограниченным сроком затворничества, который он проведет вместе с сестрой так, словно они самые близкие люди на свете. Напрасно спрашивал бы он себя, какая тут связь; наверно, мысль о «незнакомой сестре» была одной из тех просторных абстракций, где находят себе место многие чувства, которые нигде не бывают уместны по-настоящему.

И, занимаясь такими вопросами, Ульрих медленно входил в этот незнакомо-знакомый город, перед ним раскрывавшийся. Свой багаж, куда он перед самым отъездом сунул довольно много книг, он отправил в коляске вместе со встретившим его старым слугой, которого помнил с детства и который совмещал обязанности лакея, дворецкого и университетского служителя таким образом, что с годами их внутренние границы стали нечеткими. Вероятно, этому скромно-замкнутому человеку отец Ульриха и продиктовал телеграмму о своей

8 смерти. Ноги Ульриха удивленно и с удовольствием шли дорогой, которая вела их к дому, а чувства его бодро и с любопытством вбирали теперь те свежие впечатления, какими поражает всякий растущий город, если ты давно не видел его. На определенном месте, которое ноги Ульриха вспомнили раньше, чем он сам, они свернули с главной улицы, и вскоре он оказался в узком переулке, образованном лишь двумя стенами садов. Перед пришедшим, чуть наискось, стоял двухэтажный дом с мезонином, сбоку от него была старая конюшня, и, все еще прижавшись к стене сада, стоял маленький домик, где жили старый слуга и его жена; домик этот выглядел так, словно старик-хозяин, несмотря на все доверие к ним, отодвинул их от себя как можно дальше и все-таки замкнул своими стенами. Ульрих в задумчивости подошел к запертому входу в сад и постучал большим металлическим кольцом, висевшим там вместо звонка на низкой, почерневшей от старости калитке, но подбежавший слуга исправил его ошибку. Они должны были вернуться, обойдя стену, к главному входу, где стояла коляска, и только в тот миг, когда Ульрих увидел перед собой закрытую дверь дома, он обратил внимание на то, что сестра не встретила его на вокзале. Слуга сообщил ему, что у госпожи мигрень и она после завтрака удалилась, велев разбудить ее, когда господин доктор приедет. Часто ли бывает у его сестры мигрень? — продолжил расспросы Ульрих и тут же раскаялся в этой неловкости, выдавшей его отчужденность старому отцовскому домочадцу и коснувшейся семейных отношений, о которых лучше помалкивать. «Молодая госпожа велела подать чай через полчаса», — ответил старик с непроницаемо-вежливым лицом вышколенного слуги, осторожно показывавшим, что он не смыслит ни в чем, что не входит в его обязанности.

Ульрих произвольно взглянул на окна с мыслью, что там стоит, наблюдая за его прибытием, Агата. Инте-

ресно, поладит ли он с ней? — спросил он себя 9
и с неудовольствием отметил, что пребывание
здесь будет довольно тягостным, если она ему не по-
нравится. То, что она не встретила его на вокзале и не
вышла к дверям, внушало, во всяком случае, доверие
к ней и свидетельствовало об известном родстве ощу-
щений, ибо спешить ему навстречу было, в сущности,
так же нелепо, как если бы он, едва войдя в дом, ри-
нулся к гробу отца. Передав, что будет готов через пол-
часа, он немного привел себя в порядок. Комната, для
него приготовленная, находилась в мезонине. Она была
его детской, но теперь мебелировку ее чудно дополнили
предметы, собранные явно наспех для удобства взрос-
лых. «Устроить все иначе, пока покойник в доме, веро-
ятно, нельзя», — подумал Ульрих, располагаясь среди
развалин своего детства хоть и с усилием, но все-таки
и с довольно приятным чувством, поднимавшимся, как
туман этой почвы. При переодевании ему вздумалось
надеть похожий на пижаму домашний костюм, который
попался ему, когда он распаковывал вещи. «Могла бы
встретить меня хотя бы в доме!» — подумал он, и была в
этой небрежности при выборе костюма доля укоризны,
хотя чувство, что у сестры есть какая-то причина для ее
поведения, которая ему понравится, — чувство это тоже
присутствовало, придавая переодеванию долю той веж-
ливости, которая заключена в непринужденном выра-
жении дружеской близости.

Он надел просторную, мягкошерстную, чуть похо-
жую на костюм Пьеро пижаму в черно-серую шашку,
плотно прилегавшую лишь на запястьях, щиколотках
и в талии; любил он ее за удобство, которое после бес-
сонной ночи и долгой дороги с удовольствием ощущал,
спускаясь по лестнице. Но, войдя в комнату, где его
ждала сестра, он был поражен своим нарядом, ибо по
тайной воле случая оказался перед рослым, светлосто-
лым, облаченным в серовато-рыжеватую полосато-

10 шашечную материю Пьеро, который на первый взгляд был очень похож на него самого.

— Я не знала, что мы близнецы! — сказала Агата, и ее лицо просияло.

2

Доверие

Они не поцеловались, а просто приветливо постояли друг перед другом, затем расступились, и Ульрих смог рассмотреть сестру. По росту они подходили друг к другу. Волосы у Агаты были светлей, чем у него, но кожа ее была хороша той же душистой сухостью, которая только и нравилась ему в собственном теле. Грудь ее не расплылась, а была маленькая и крепкая, и все члены сестры были, казалось, той узко-продолговатой, веретеноподобной формы, что соединяет в себе природную энергию с красотой.

— Надеюсь, твоя мигрень прошла, следов ее уже не видно, — сказал Ульрих.

— Никакой мигрени у меня не было, я сказала это для упрощения, — объяснила она, — ведь не могла же я сообщить тебе через слугу более сложную вещь — что мне было просто лень. Я спала. Я привыкла здесь спать каждую свободную минуту. Я вообще лентяйка — наверно, от отчаяния. И узнав, что ты приедешь, я сказала себе: теперь, надеюсь, моя сонливость кончится, и погрузилась в сон, так сказать, выздоравливающей. А слуге я все это, хорошенько подумав, назвала мигренью.

— Ты совсем не занимаешься спортом? — спросил Ульрих.

— Немного играю в теннис. Но я терпеть не могу спорт.

Он еще раз, пока она говорила, рассмотрел ее лицо. Оно показалось ему не очень похожим на его собственное; но, возможно, он ошибался, оно, может быть, по-

ходило на его лицо, как пастель на гравюру на дереве, и поэтому различие в материале скрывало от глаза соответствия в линиях и плоскостях. Лицо это чем-то его беспокоило. Через мгновение он понял, что просто не может сказать, что оно выражает. В лице ее не хватало того, что обычно позволяет судить о человеке. Это было лицо, полное содержания, но в нем не было ничего подчеркнутого, ничего такого, из чего вообще складываются характерные черты.

— Как вышло, что ты оделась так же? — спросил Ульрих.

— Сама не знаю, — ответила Агата. — Я думала, что это мило.

— Это очень мило! — со смехом сказал Ульрих. — Но ведь настоящий трюк случая! И смерть отца тебя тоже, я вижу, не очень-то потрясла?

Агата медленно поднялась на цыпочках и так же медленно опустилась.

— Твой муж тоже уже здесь? — спросил брат, чтобы что-то сказать.

— Профессор Хагауэр прибудет только к похоронам.

Казалось, она была рада поводу произнести это имя так официально и отстранить его от себя, как что-то чужое.

Ульрих не знал, что на это ответить.

— Да, да, слышал, — сказал он.

Они снова взглянули друг на друга, а потом пошли, как того требуют приличия, в маленькую комнату, где лежал покойник.

Весь день эта комната была затемнена; она была насыщена черным. В ней пахло цветами и горящими свечами. Оба Пьеро стояли выпрямившись перед покойником, словно следя за ним.

— Я не вернусь к Хагауэру! — сказала Агата, чтобы покончить с этим. Можно было подумать, что это предназначалось и для ушей покойника.

12 Он лежал на своем катафалке так, как об этом распорядился: во фраке и крахмальной рубашке, видневшейся из-под доходившего до середины груди покрывала, со сложенными руками, без распятия, при орденах. Маленькие, резко выступающие надбровные дуги, глубоко впавшие щеки и губы. Он был как бы зашит в отвратительную, безглазую, трупную кожу, которая еще составляет часть человека и уже чужеродна ему. Дорожный мешок жизни. Ульрих невольно почувствовал удар в том корне своего существа, где нет ни чувств, ни мыслей; но дольше нигде. Если бы ему пришлось облечь это в слова, он смог бы только сказать, что закончились тягостные отношения без любви. Так же как плохой брак делает плохими людей, которые не могут освободиться от него, точно так же портят людей всякие, рассчитанные на вечность, давящие узы, когда под этими узлами сходит на нет жизнь.

— Мне хотелось, чтобы ты приехал раньше, — продолжала Агата, — но папа не соглашался. Обо всем, что касалось его смерти, распорядился он сам. Я думаю, ему было бы мучительно умирать у тебя на глазах. Я живу здесь уже две недели. Это было ужасно.

— Тебя-то он хоть любил? — спросил Ульрих.

— Он обо всем распорядился, все препоручил своему старому слуге и после этого производил уже впечатление человека, которому нечего делать и незачем жить. Но чуть ли не через каждую четверть часа он поднимал голову и смотрел, нахожусь ли я в комнате. Так было в первые дни. Потом через каждые полчаса, позднее — через каждый час, а в последний ужасный день это случилось вообще только два-три раза. И за все дни он не говорил мне ни слова, разве только если я о чем-нибудь его спрашивала.

Ульрих подумал, когда она это рассказывала: «Она, в сущности, твердая. Еще в детстве она умела проявлять необыкновенное упрямство молча. Но с виду-то она уступчива?» И вдруг он вспомнил давнее. Однажды

он чуть не погиб в разоренном лавиной лесу. 13

Она была всего лишь мягким облаком снежной пыли, которое под действием неудержимой силы стало твердым, как падающая гора.

— Это ты отправила мне телеграмму? — спросил он.

— Нет, отправил ее, разумеется, старик Франц! Распоряжение было уже отдано. И ухаживать за собой он тоже не разрешал мне. Он, несомненно, никогда не любил меня, и я не знаю, зачем он вызвал меня. Я плохо себя чувствовала и старалась почаще запираюсь у себя в комнате. И в один из таких часов он умер.

— Наверно, он хотел доказать тебе этим, что ты совершила ошибку. Пойдем! — сказал Ульрих горько, потянув ее к двери. — А может быть, он хотел, чтобы ты погладила ему лоб? Или преклонила колени у его одра? Хотя бы только потому, что он всегда считал, что так полагается прощаться с отцом. Но попросить тебя об этом у него не повернулся язык.

— Может быть, — сказала Агата.

Они еще раз остановились и посмотрели на него.

— В сущности, все это ужасно! — сказала Агата,

— Да, — ответил Ульрих. — И так мало знаешь об этом.

Когда они выходили из комнаты, Агата еще раз остановилась и сказала Ульриху:

— Я лезу к тебе с вещами, до которых тебе, конечно, нет дела; но именно во время болезни отца я решила ни в коем случае не возвращаться к своему мужу!

Ее упорство вызвало у брата невольную улыбку. У Агаты появилась между глазами вертикальная складка, и говорила она с ожесточением; она, по-видимому, боялась, что он не станет на ее сторону, и напоминала кошку, которая от великого страха смело нападает сама.

— Он согласен? — спросил Ульрих.

— Он еще ничего не знает, — сказала Агата. — Но он не согласится!

14 Брат вопросительно посмотрел на сестру. Но она резко покачала головой:

— О нет, не то, что ты думаешь. Никакие третьи лица тут не замешаны! — сказала она.

На том этот разговор пока кончился. Извинившись за невнимание к голодному и усталому брату, Агата повела его в комнату, где уже ждал чай, и, заметив, что чего-то на столе не хватает, вышла, чтобы принести это. Ульрих воспользовался одиночеством и попытался по мере сил представить себе супруга Агаты, чтобы лучше понять ее. Он был среднего роста, держался очень прямо, ходил в мешковатых штанах, не скрывавших округлости его ног, носил при довольно пухлых губах усы щеточкой и питал страсть к галстукам с крупными узорами, которая, по-видимому, означала, что он не обычный, а передовой человек. Ульрих почувствовал, как в нем опять пробуждается старое недоверие к выбору Агаты, но вообразить, что этот человек скрывает какие-то тайные пороки, никак нельзя было, вспоминая, каким чистым сиянием светились чело и глаза Готлиба Хагауэра. «Да это же просвещенный, деятельный человек, молодчина, который движет вперед человечество на своем поприще, не вмешиваясь в далекие от него дела», — констатировал Ульрих, вспоминая при этом и сочинения Хагауэра, и погрузился в не совсем приятные мысли.

Таких людей можно распознать уже в их школьные годы. Они учатся не столько добросовестно — как это называют, путая следствие с причиной, сколько рационально и практично. Каждую задачу они сперва подготавливают, как нужно с вечера приготовить одежду, вплоть до последней пуговицы, если хочешь быстро и без задержек собраться утром; нет такого хода мыслей, которого они не могли бы такими пятью или десятью приготовленными пуговицами закрепить в собственном уме, и надо признать, что ум этот потом довольно хорош на вид и проверку выдерживает. Они становятся